

Глава 1

ГЛЕБОВО

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более двухсот человек.

Из выступления В. Молотова по радио 22 июня 1941 г.

— Ба, а ба, а я буду с фашистами воевать?

— Ты совсем спятил, окаянный, тебе всего-то четырнадцать лет. Твой отец, коли об этом прознает, нам обоим так навоюет, что мало не покажется. Запомню, пострел ты экий, что он велел, когда уезжал?

— Мне скоро пятнадцать лет, забыла?

— Не оговаривайся, баловник. Помню, большой вымахал, а разумение всё как у дитяти. А день рождения твой-то только весной будет!

Лёша взлохматил белобрысые волосы и посмотрел на бабушку, неспешно чистящую у окна варёную картошку в мундире. Она, как ни в чём не бывало, поправила платок и выпрямила сутулую спину. По всей избе

повеяло постным маслом, что стояло в открытой бутылке возле миски.

— Да, помню, отец сказал: «Помогай бабушке и слушайся её».

— Вот и слушайся меня, сделай одолжение.

— А Колька Савинков хочет на фронт сбечь, — не унимался внук. — Я с ним пойду, а то так, глядишь, и война через несколько месяцев без нас закончится. Вот посмотришь — не успеет батя воротиться домой, а я на крыльчке с медалями его поджидаю.

— Вот Серафим Петрович задаст твоему Кольке по первое число, что ему, паршивцу этакому, небо с овчинку покажется. У него мать при смерти, пластом лежит уже какой год, а он, пострел, в бега собрался. Вот давеча ночью, в третьем часу, что-то грохотало в стороне Малоярославца, как бы германцы к нам не заявились. Будет тебе тогда такой фронт, сами не успеем спрятаться, — бабушка вздохнула и бросила взгляд в окно. — Да и где укроешься-то от фашиста проклятого? Эх, велика Россия, а куда вот идти и не ведаю, то ли в ближний лес, то ли прямо сейчас уходить куда подальше, хоть за Серпухов. Да вот токмо кому мы там нужны? Ведь и голову будет негде преклонить, а скоро морозы.

Прасковья Филипповна замолчала и краешком фартука утёрла набежавшую слезу. Внук Алексей перестал глупо ухмыляться, отвернулся от бабушки, чтобы самому не разреветься вместе с ней, и начал пристально, почти не моргая, смотреть в окно на серое октябрьское небо. Женщина вышла из закутка, глянула в красный угол на образа — по причине начавшейся войны их вновь водрузили на своё законное место, достав



с пыльного чердака, — перекрестилась и сказала, глядя на внучка:

— Коли придёт проклятый германец, ты уходи с тётей Глашей, а я, наверно, останусь за домом присматривать. Чую, спалят его изверги или колхоз займёт.

— А вдруг с тобой что случится?

— Не переживай, я уже старая и никому не нужна, да и Бог меня сбережёт. Ну а ежели смерть придётся принять, так тому и быть. Лучше на родной земле преставиться, чем на чужбине. Жалко вот только, что церкву-то нашу родную закрыли...

— Вот опять завела, бабуся, старую пластинку. Чай, за-памятовала, религия — это опиум для народа, сам Карл Маркс сказал.

— Да, помню-помню, с вами, огольцами, разве позабудешь про вашего Карлу. Папаша твой мне тоже всё про это самое бубнил. Скажи, что хоть этакое — опиум-то твой? Может статься, что-то недурное.

Лёха заёрзал на стуле и даже принялся украдкой грызть ноготь на правом мизинце.

— Учительница, помнится, нам в классе объясняла, это что-то типа вина или особенно крепкого чая, сам не пойму.

— Ну коли сама учительница растолковывала, хотя погоди-ка... — Прасковья Филипповна остановилась и задумалась. — Мне в тридцатом или тридцать первом году фельдшер выписывал опиумную настойку от желудка, я её в Угодке* в аптеке брала. Выходит, что вера-то

* Село Угодский Завод, райцентр Московской области, ныне г. Жуков Калужской области.

прямо как лекарство для народа. Так и есть, прав твой окаянный бородач-то.

— Бабуля, ты всё не так понимаешь. Если тебя послушать, то портреты товарищей Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина надо вешать рядом с иконами?

— Так и есть! Вон у Сидорки-то те же безбожные лики, что из журналов повырезаны, теперь прилажены поверх самого Николая Угодника да Спасителя с Богоматерью... Он тока шаст из дома, так тёща упрятывает безбожников и даже лампадку зажигает. Как-то раз партийные мордасы-то вернула на место, а лампадку-то, пустая голова, позабыла задуть, а тут в избу, как на грех, вся сельская партийная тройка, значит, сам Сидорка, потом Паша Косой и ваш комсомолец заходят, а подле Ленина и Сталина лампадочка мерцает... Вот смеха-то было, почитай, на всё село, чуть потолок в избе не рухнул!

Лёшке, крепкому, круглолицему подростку, был не по душе этот разговор. Он любил родную бабулю, заменившую ему мать, бросившую его в младенчестве, а её возмутительные слова, бесспорно, перечили тому, что ему изо дня в день талдычили в школе и в сельском клубе, да ещё во всех газетах и книгах. И он принялся выдумывать повод, чтобы оборвать рассказы бабушки. Наконец он с облегчением вздохнул и пробурчал, перебивая старушку:

— Ба, а ба, давай лучше обедать, а то в животе уже урчит. Так хочется котлету.

— Вот тебя отец набаловал-то на свою голову, а что ещё твоя душенька желает?

— Горячего ка-ка-о.

— Ка-ка-о? Совсем с ума спятил наш Алёшка-то! — всплеснула руками бабуля. — Того гляди немцы на деревенской околице появятся, а он всё туда же — давай какао ему. Всё отцу расскажу, когда он вернётся. Вот воспитали барчука на свою голову.

— Я не барчук, я — пионер! — обиделся внук и отвернулся к окну.

Прасковья Филипповна густо полила маслом картошку, сыпанула в миску мелконарезанного репчатого лука и сухого укропа. Аккуратно отрезала ломоть хлеба, крошки смахнула в рот и подала хлеб внуку. Затем шагнула к печке и, ухватом взяв чугунок со щами, выставила его на стол.

Алексей смахнул в сторону белобрысый чуб и, не дожидаясь первого блюда, принялся уминать картошку — не спеша, с излишним усердием, медленно и с удовольствием слизывая с пальцев вкусное масло. Бабушка хотела заругаться на непослушного ребёнка, но вдруг смягчилась:

— Давай, наедайся, силы нам, милок, сгодятся. Только место в животе для щец побереги.

Отец Алексея, Сергей Фёдорович Вдовин, походил на мать ростом, за что его с детства дразнили «дылдой», и крепкими руками, да ещё какими-то светлыми, не унывающими глазами. За неделю до этого он убыл в эвакуацию вместе с высокиничским отделением Госбанка, где много лет проработал. Его жена, хохотушка Клавдия из соседней деревни Воронки, давным-давно бросила его вместе с сыном, через шесть месяцев после родов.

Не раздумывая, егоза укатила на Дальний Восток в поисках лучшей жизни с подвернувшимся под руку лейтенантом Красной Армии с малиновыми петлицами, прибывшим на малую родину в очередной отпуск. Все тяготы воспитания крохотного Алёшки свалились на плечи матери Сергея — Прасковьи Филипповны. Измена стряслась как раз накануне сплошной коллективизации, когда предгрозовая атмосфера расплёскивалась во все стороны чёрными буквами из передовиц газет. Клавдия словно загодя смекнула своим женским чутьём, что их прежнее деревенское житьё-бытьё того гляди канет в Лету.

Сергей, как сын красноармейца, одним из первых тянул руку за создание колхоза на общем собрании единоличников и даже особо не сокрушался, в отличие от матери, когда поначалу пришлось отдать на общее дело не только справногo коня, но и кормилицу семьи — тёлку Пеструшку. Вдобавок для грядущего торжества социализма во всём мире в расход пошли ещё восемь овец и шестнадцать кур во главе с бойким петухом Яшкой. Сам Сергей давно, с конца двадцатых годов, трудился в соседнем районном центре Высокиничи и надеялся пережить трудные времена благодаря ежемесячной заработной плате. Он старался не думать об этих потерях, тем более не понаслышке ведал, что приключается в наше время с ушлыми собственниками, изо всех сил цепляющимися за своё хозяйство, а ему надо было поставить сына на ноги.

Но Прасковья Филипповна по-старчески артачилась, не отрекалась от своей крестьянской сущности и по-прежнему стояла на своём. Время от времени она уверяла наследника:

— Все наши, глебовские, сынок, за единоличное хозяйство. Чтобы дом свой, лошадь своя, картошка своя, свиньи-овцы — тоже свои. Чтоб вышел на своё крыльцо, посмотрел на белый свет, и сердце радовалось бы... Помню, как кричали «Земля крестьянам!», так её, родимую, верните труженикам. Вот как мы думаем, и батя твой ведь тоже, не щадя живота, бился за Советскую власть, тоже со мной бы согласился, а тебя, сынок, нынче последним дурнем сосватали в проклятый колхоз. Я-то скоро помру, а ты ещё не раз помянешь мои слова — доведёт колхоз ваш, как говорится, до цугундера.*

Сын не полагался на слова матери, скорее, просто не хотел верить в них, и всё упрямо крутил головой, словно молодой бычок, что ищет, к чему приложиться растущими рожками. Он ни за что на свете не желал обидеть матушку, но про себя посмеивался над её словами, да и, что там греха таить, над всем её старорежимным поколением, по-прежнему цеплявшимся за давно отживший своё прошлый век. Да только Прасковья Филипповна, по своей исконной женской сути, не унималась, назойливо гладила сына по непослушным волосам и время от времени талдычила:

— Знаешь, какие частушки ребята-то наши поют, когда твои комсомольцы не слышат?

— Поведай-ка, занятно, — ёрничал Сергей.

Мать всплеснула руками и, словно в юности на сельском гулянье, мелко задробила каблуками, весело запела:

* Жаргонное выражение 1920–1930-х годов — «застенок», «тюрьма».

— За решётку посадили
Всех чекисты кулаков.
Землю их освободили
Для крапивы, лопухов.

Сергей нехотя убрал с головы тяжёлую и сухую ладонь матери:

— Мама, право слово, как тебе не совестно? Вот сама увидишь — скоро повсюду появятся трактора, комбайны, новые саженцы и семена. Всё вокруг расцветёт, как в дивном саду, и не поверишь, но станет как в твоём раю. Будто мифический Адам и Ева, тьфу, всё человечество не назад воротится в райские кущи, а придёт дружной семьёй в новые социалистические. Вот куда ведёт отсталую деревню наш рабочий класс, и никакой враг нам не помешает сойти с этого пути!

Но и Прасковья Филипповна, как женщина с характером, много повидавшая на своём веку — и в прежней жизни при царях, и при новых порядках, когда в их селе стало совсем без продыха, с навалившимися проклятыми войнами и революциями, — не поддавалась сладким и пьянящим рассказам сына о светлом будущем.

— Пряма так сами твои рабочие нас куда-то ведут. Думаешь, я не знаю, что трудовому человеку надоть, а? Заработок, горячий ужин да рюмку горькой. Да ещё в баньку там сходить, да в чайной с дружками посидеть. Совсем другие люди народ куда-то силком тащат — те, что в жизни-то тяжелее карандаша ничего не поднимали и жизнь нашу не разумеют. Как бы на бойне не очутиться с такими жожаками. Не может человек без своего интереса хорошо трудиться, по себе знаю, я ведь сколько батрачила в юности. Лошадь, коли не накормлена и не напоена,

ни в жизнь с плугом не пойдёт, а вы хотите, чтоб человек за здорово живёшь корпел до кровавых мозолей. А после кто-то всё это поделит на всех крестьян, пролетариев и служащих — ага, ждите... Сам посуди: работнику что скажут, он то и делает, будто запряжённый в плуг вол али какой мерин, и плевать он хотел, что там вокруг, как сделать справно или понадежней. Главное — отдай ему положенную денежку, и дальше хоть трава не расти. Да всё зырит по сторонам, чтобы такого вдобавок незаметно спереть для дома или на пропой. А крестьянин — то совсем другое, он человек вольный: сам себе голова, выгоду ищет и от полученного убытка по ночам не спит, всё думку думает, что в этом году лучше посадить — рожь али овес, как бы что-то новое выдумать, чего нет у соседей. Вот, к примеру, нема в селе сапожника — он раз и обучится ремеслу, нет колёсника или бочкаря — тоже, глядишь, мастерство освоит.

— Известное дело: впереди пролетариев шагают с красным знаменем настоящие большевики, они знают, что нам лучше. А такие глупые частушки я и сам помню ещё с детства, могу вприсядку пройти с коленцами.

Ленин Троцкому сказал:
«Пойдём, товарищ, на базар,
Купим лошадь карюю,
Накормим пролетарию».

— А что мне стыдиться? Вот увидишь, пустят они нас по миру без порток, а земля наша, политая потом и кровью дедов и прадедов наших, зарастёт репьём да лебедой. А насчёт твоего коммунизма скажу так: хорошо,

если дети или внуки нашего Лёшки застанут что-то похожее, но токмо не мы с тобой. А мои глаза, уж верно, не увидят вашего доморощенного рая, круто замешанного на крови и слезах, да и не нужен он мне — поперёк горла встанет. Я, милок, хочу жить в ладу со своей душой, а не с брюхом.

Вдовин помалкивал, почти не перечил матери, про себя надеялся, что нынешняя жизнь-то она такая — прёт штопором, и сама рассудит, кто прав, а кто нет, и всё разложит по полочкам. Хотя сомнений в своей правоте у него отродясь не водилось, ведь за тонкими брошюрками из избы-читальни о всеобщем счастье и изобилии стояли мудрые учёные люди. Но тогда с коллективизацией всё вышло как-то не так, по-иному, не по уму и не по совести. Так что зазорно сыну стало смотреть в глаза матери, когда по зиме, по разнарядке, свалившейся на головы односельчан из Угодско-Заводского района, под метёлку забирали из их и так небогатой избы чугунок да миски, ложки да вилки — всё вплоть до застиранных кальсон да портов с заплатами, а из подпола хищно вытаскивали даже бочки с квашеной капустой...

Правда, после такого всеобщего обобществления всей имеющейся собственности на деревне, быстро опомнились. Ложки да плошки, кур да уток новые хозяева жизни в конце марта того самого лихого 1930 года, скрипя зубами, всё же воротили прежним владельцам — следом за выходом известной статьи в головной газете «Правда», говорившей о перегибах в колхозном строительстве.

А Вдовин вскоре плюнул на всю эту затею с колхозами, что поставила всю жизнь в стране с ног на голову, оставил своё недолгое бригадирство и, выйдя из колхоза,

подался обратно на работу в Высокиничи, благо образование позволяло. А комсомольскую путёвку в райкоме ему выписали — не зря он один-единственный из местных комсомольцев, поскрипывая блестящими ремнями, носил тёмно-зелёный костюм юнгштурма* и не пропускал ни одного субботника и собрания.

Беспрестанно где-то около Малоярославца и Калуги, горели леса и поля, и даже страшно подумать — целые деревни и города. И оттого невысокое осеннее солнце сызнова оказалось в дымной пелене, словно желая заслониться от всех тех дел, что ныне свершались на земле, и как будто безжизненное око, затянутое бельмом, неспешно покатило к близкому закату мимо тёмных крыш и одиноких скворечен.

После обеда бабушка с внуком принялись копать под старой грушей яму. Место казалось тихим, укрытым от посторонних глаз среди крапивы, расположенным далеко от дощатого забора и оттого надёжным. Глядишь, соседи, а тем паче чужаки, случаем не приметят тайника. К вечеру в получившийся ров кое-как на верёвках опустили старый сундук, загодя принесённый с терраски, ещё пахнувший просушенным деревом и простеньким девичьим приданым хозяйки дома, состоявшим из дюжины полотенец да простыней с пододеяльниками и наволочками, и давным-давно пущенным в дело.

* Военизированная одежда комсомольцев 1920–1930 гг., по подобию молодёжных отрядов немецких коммунистов.

Прасковья Филипповна постелила на дно сундука старый брезентовый плащ, положила туда мешок муки, холщовые свёртки с крупами, солью, приличный шмат сала на полпуда*, часы с кукушкой, будильник и кой-какую нарядную посуду — ещё того самого знаменитого Кузнецовского фарфорового завода, да пристойное добро, что было жаль вот так запросто оставлять в избе в это неспокойное время.

— Ба, ну зачем всё это? — забубнил Лёха, вытирая рукавом пот с румяных щёк. — Никогда немцы не придут к нам в деревню, наши разобьют их со дня на день, вот сама увидишь. А коли заявятся, то у меня с Колькой фаерный танк имеется.

Прасковья Филипповна упарилась, оттого расстегнула стёганую коричневую безрукавку, давно застиранную, но опрятную, и, поправив бумазейный платок, по-старинному повязанный концами вперёд, строго посмотрела на внука.

— Не хнычь и не дури, ты германца ещё не знаешь, я-то пережила ту германскую войну. Упрямые они, нехристи, будут переть, пока не добьются своего. Тогда-то тоже много деревенских мужиков в окопах сидело, и дед твой, да вот только нашим солдатам осточертело, они и принялись смутьянить да дезертировать, а германец-то, настырный, ни в какую сдаваться не хотел, до последнего тянул. Ну, а коли случится по-твоему, то тогда откопаем наш с тобой припасец, правда? А так мне спокойней будет, хоть знаю, чем тебя кормить.

— Правда-правда.

* 8 кг

— А теперь всё, шабаш, хорош бубнить, давай-ка лучше всё засыпай, а после ещё ногами хорошенько притопчи.

Они дружно принялись сгребать землю в яму и тщательно утрамбовывать её ногами. А после Лёшка, войдя в раж, ещё потряс грушу, и она щедро поделилась пожелтевшей листвой, засыпав всё вокруг себя, будто отродясь здесь ничего не прятали.

Темнело. В октябре вечера больно кургузые, да ещё свежий ветерок подразогнал марево, и теперь розовые края облаков на закате извещали, что солнце, притомившись от дневных хлопот, скрылось за горизонт. С близкой реки потянуло сыростью и гарью с неведомых пепелищ, как тут около дома стукнула незапертая калитка. Прасковья Филипповна заволновалась.

— Побудь покамест тут, я пойду посмотрю, кто там. И заруби себе на носу, Алексей, никто не должен знать, что мы с тобой сделали, уяснил? Никому ни слова!

— Да, я уже большой, чай, не дурак, всё понимаю.

— Я знаю, потому и надеюсь на тебя, как на велико-возрастного. Вывали сюда ещё гнилые яблоки и груши из ящиков, они лучше прикроют наше с тобой несметное богатство.

— Есть, товарищ красноармеец.

— Вольно, господин поручик.

Оглядываясь с опаской и растирая руками поясницу, Прасковья Филипповна побрела к дому. Миновав сад и овощник с чёрными перекопанными грядками, она предусмотрительно оставила лопату подле навозной кучи и, старательно вытирая руки от земли о фартук, скрылась за кустами сирени. Внук принялся прислушиваться

к дальнему разговору — ему стало интересно, кого это принесло под вечер, почитай, на самую окраину села, да только ничего не разобрал.

Когда голоса стихли, он крикнул:

— Ба, кто там?

— Да не шуми, ирод, Серафим Петрович заглянул на минутку.

— Что стряслось-то, ба? — удивлённо поинтересовался внук.

— Помолчи, прошу тебя, Алексей, ты уже большой.

Стало слышно, как Прасковья Филипповна закрывает калитку и не спеша шагает в сад, к внуку. Стало быть, стряслось что-то серьёзное — она никогда не называла его Алексеем просто так, обычно подходило «Лёшка» или просто «бестолочь». Подойдя, бабушка осторожно обняла мальчика за плечи и прошептала:

— Пошли-ка лучше в избу, сурьёзный разговор имеется.

Серафим Петрович, неворчливый и ещё крепкий старик, прихрамывал на правую ногу после ранения в 1916 году, на той, первой, германской войне. И, почитай, уж более десяти лет прошло, как вместе с районными партийцами, облачёнными в добротные френчи и яловые сапоги, накатила в Глебово волна сталинской коллективизации. С тех самых пор он являлся выборным председателем здешнего колхоза «Светлый путь». Ковылял по селу он степенно, не суетливо, в извечно застиранной косоворотке и в старом однобортном пиджаке в три пуговицы, ещё старорежимного покроя, и когда-то иссиня-чёрного

сукна, как крыло ворона. По-хозяйски оглядывал колодцы, да заодно избы колхозников с давно некрашеными наличниками, да покосившиеся сараи. Ещё две недели назад он ломал голову, как допахать зяби, а теперь махнул на всё рукой.

Колхоз, наспех организованный к 1 марта 1930 года по повелению Калужского окружного комитета ВКП(б)* Московской области о стопроцентной коллективизации, состоял из жителей села Глебово и соседней деревни Воронки, всего-то в полсотни дворов. К счастью, новоиспечённым колхозникам от кулаков, выселенных с родных мест прямо в одном исподнем то ли в далёкую Сибирь, то ли в неведомый Казахстан, достались исправная мельница и крепкие дома, приспособленные под школу, сельсовет да общежитие для всяких наезжающих из райцентра командировочных.

В самом центре села председатель Серафим Савинков не спеша свернул к правлению колхоза, нашедшему приют в бывшей торговой лавке с чайной крестьян Сидоркиных. Там же, под одной крышей, располагался и Глебовский сельсовет. По-купчески крепкий дом, возведённый ещё в начале века из густо-красного кирпича, вдобавок с большущим подвалом, что много лет использовался под склад, смотрел на сельскую улицу тёмными окнами. Видимо, Миронова, сердечного приятеля и по совместительству председателя сельского совета, на месте не оказалось. Серафим Петрович своим ключом открыл скрипучий навесной замок и огляделся по сторонам. На улице поблизости хоть шаром покати. Колхозное

* Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).

стадо давно прогнали на ферму, и даже пыль уже осела на коровьи лепешки. Только напротив, в соседней избе, блеяла вечно недовольная коза, верно, хозяйка уж больно старательно доила единственную кормилицу.

Наконец-то оказавшись в бывшей чайной, он закрыл дверь на запор и прошел в колхозную половину, где зажёл керосиновую лампу. Фитиль постепенно разгорелся и осветил комнатёнку правления. Председатель с грустью оглядел тёмные углы, окно с паутиной, бросил взгляд на часы с кукушкой, изъятые у кулаков Петровских. Но они давно не ходили и молчком висели, как напоминание о его давнишних знакомцах, а отвезти их в ремонт всё руки не доходили. Савинков сел за длинный стол, накрытый старым кумачом с пятнами от химических чернил, каплями воска и даже прожжёнными дырами — видимо, кто-то в порыве гнева или просто из озорства тушил сигарки о красное полотно.

На всё это обыденно и невозмутимо из темноты глядели с простенка, почти из-под самого потолка, засиженные мухами чёрно-белые образы классиков — спасителей трудового народа Маркса, Энгельса и Ленина. Портрет Сталина висел особняком в белой рамке за стеклом, по которому в данную минуту плясали яркие отблески от горящего светильника, словно желая подпалить глянцевою бумагу. На столе одиноко белела ненавистная бумажка — срочное указание из района, полученное председателем под подпись от нарочного аккурат перед обедом. Серафим Петрович подвинул венский стул поближе к свету, достал очки и ещё раз перечитал директиву с пляшущими буквами, напечатанную под копирку.